

Призраки рвутся назад

Беседа с Борисом Кагарлицким¹

В чем состоит специфика левого российского интеллектуального пространства в России?

Парадокс российского интеллектуального пространства состоит в том, что никакой российской специфики в нем нет. Дело не в том, что «правый» взгляд на интеллектуальное пространство — такой, а «левый» — другой, не в том, что российское интеллектуальное пространство выглядит таким-то образом, а французское выглядит совсем иначе в силу особенностей французской культуры. Такие картины можно было бы рисовать с большим увлечением, если бы не самое главное. В России просто нет интеллектуального пространства как единого континуума: здесь нет устойчивых взаимоотношений и образцов, нет дебатов.

Единственная дискуссия, которая постоянно ведется — об империи. Она будет продолжаться бесконечно в силу своей полной интеллектуальной бессодержательности, полного отсутствия связи с реальностью России. Российская дискуссия об империи не имеет никакого отношения к истории российской империи. Первичным условием этой дискуссии является забвение вообще всех фактов, которые имели место в России. Такая дискуссия может продолжаться, вернее, топтаться на одном месте, бесконечно долго. Российские идеологи являются здесь чистыми идеологами, которые не обременяют себя связями с действительностью.

В этой ситуации, когда никакой российской специфики нет, российское интеллектуальное пространство является просто частью международного интеллектуального пространства, единственного реального пространства, которое имеет связанность. Оно просто опрокинуто на нашу реальность. Мы пытаемся с ним соотноситься, поскольку оно предлагает единственную систему координат, которую хоть как-то можно построить.

А каким образом все это международное, глобальное транслируется на нашу почву?

А ничто не транслируется — в этом вся суть. Хитрость вот в чем. Есть определенная пирамидальная структура сознания: в основании — практический разум, затем идет слой с большей степенью абстракции и, наконец, на верши-

¹ Беседа подготовлена в ходе работы над проектом «Мыслящая Россия: картография современных интеллектуальных направлений», поддержанным фондом «Наследие Евразии». Беседовали Виталий Куренной и Руслан Хестанов.

не вы имеете наивысший уровень абстракции, что-то вроде логики Гегеля. Так вот в России только вот эта верхушка и есть. То есть у нас каждый — сам себе Гегель. Каждый, кто хоть немножко умеет думать, он считает себя обязанным, как минимум, занять место всей классической немецкой философии с античной эстетикой в придачу. Поэтому, здесь, у нас, очень интересно, но получаются абсолютно неконструктивные дискуссии. Наши дискуссии увлекательней западных, но они не результативны.

Но почему наши дискуссии воспроизводят западные?

А это связано, как мне кажется, с деклассированием нашей интеллигенции. Причем, интеллигенции и как социального слоя, и как Интеллигенции с большой буквы, которая представляет собой слой профессиональных идеологов. Интеллигенция оторвана от почвы не потому, что это плохие люди, не потому, что эти люди свихнулись. Массовая маргинализация интеллигенции произошла, когда её старый мир не просто рухнул, а как бы испарился. От него, по существу, даже не осталось обломков. Рухнула экономика, рухнули социальные связи, но при этом остались хоть какие-то структуры. А интеллектуальный мир на фоне этих разрушений просто выпарился, ушел вверх, в никуда, потерял связь с реальностью. Поэтому масса интеллигенции превратилась в маргиналов. А маргинал с интеллектуальными потребностями — это существо странное. Обычный человек, занятый вопросами выживания, он и думает о колбасе. А вот другой человек, который в значительной мере потерял свою среду, связи, при этом он не так занят вопросами выживания. Он ищет чисто интеллектуальные решения. Как правило, маргинальный интеллеktуал это тот, кто начинает верить в чертей. Русский и советский интеллигент был интересен сочетанием, с одной стороны, «техники практического знания» (пользуясь термином Сартра), с другой стороны, он был идеологом и носителем некоторой моральной идеи, морального принципа. Поэтому наш интеллигент выпадал из ряда европейских интеллектуалов. А тут у него отняли задачу, связанную с техникой практического разума (неважно идет ли речь о гуманитарии или о технической интеллигенции). Но, кроме того, интеллигент лишился и моральной легитимации. Во-первых, потому что интеллигенция потеряла два моральных стержня — одновременно советскую и антисоветскую легитимацию. Оба основания морального мира интеллигентов рассыпались. Ни бороться за советскую власть, ни воевать против нее больше не имело смысла, поскольку исчез сам объект — просто ушел, не попрощавшись, а не уничтожился. Во-вторых, либеральная интеллигенция, которая больше всех работала на реформу, она не просто сдвинулась далеко вправо. Она вышла за пределы самого морального поля интеллигенции, поскольку культ рынка и культ денег делают интеллектуала бессмысленным, лишают его самих основ его собственного существования. Рынок нуждается в интеллектуалах лишь постольку, поскольку они дают некоторое иное измерение, несводимое к рынку и деньгам.

Та часть интеллектуалов, которые технически были на коне, были способны построить новую систему взаимосвязей, иерархии, которые могли навязать обществу некоторый дискурс, в силу того, что заняли некие командные высоты, эта группа оказалась неспособной к гегемонии, не сумела навязать

свои идеи обществу, потому что в их собственных идеях была внутренняя несостоятельность. В их идеях была заведомая антиинтеллектуальность, которая приводила к самоотторжению, когда людям, даже если они искренне верили в то, что делали, все равно было противно. Вот почему они с такой охотой переходили в оппозицию. Это им придавало хоть какой-то смысл и моральное оправдание. Выступая пропагандистами власти, они все же понимали бессмысленность и бесперспективность собственного положения. А это приводило к неврозам. Вот почему в какой-то момент часть из них начала называть себя социал-демократами, как Гавриил Попов, хотя все что он делал, было прямо противоположным социал-демократии.

Эти интеллигенты должны были стать либо тотально коррумпированными персонажами (а таковые не имеют больших интеллектуальных амбиций), либо они обречены на внутренние страдания. И вот мы увидели некий слой людей, который оказался не у дел. Хотя либерализм одержал триумфальную победу не без участия наших интеллектуальных элит, он вдруг оказался в чрезвычайно сложном положении. С другой стороны, масса интеллектуалов, которая не была частью либеральной элиты, потеряв былую советскую легитимность, достойную работу и заработок, начинает ловить чертей. Черти бывают разные. Могут быть «масоны», «евреи», «чекисты», в определенных условиях «кавказцы», «мировая закулиса». Причем черти получаются странными. Ведь мы не будем отрицать, что евреи или чекисты существуют в реальной жизни. Дело в том, однако, что существующие в интеллектуальном пространстве их аналоги не имеют никакого отношения у реальности.

А можно ли говорить о том, что у интеллектуалов поменялся работодатель – вместо государства на работу его взял предприниматель?

В том то и дело, что государство в строгом смысле и не было работодателем. Интеллектуал по западным критериям является наемным работником, но российский интеллигент он наемным работником в чистом виде не является. Васиссуалий Лоханкин – ну какой он наемный работник? Советская власть была своеобразным работодателем. Она платила деньги за то, чтобы ее обливали грязью. Сугубо мазохистский работодатель. Она же затем делала им гадости, тем самым культивируя к себе отношение как к враждебному элементу. Садомазохизм был с обеих сторон. И вот представляете, какой наступает ужас, когда людей лишают такого постоянного удовлетворения. Понятно, что у людей начинаются фрустрации, комплексы потери.

Если вернуться к вопросу о неукофенности российских дискуссий, то какую роль в этом играет наше историческое прошлое? Похоже, что сам советский строй настолько вышибает почву из под идентификации, например, консервативной или левой, что создает колоссальное замешательство, поскольку само прошлое является «левым». Это создает чудовищные сложности для консерваторов, которые не могут быть консерваторами, и ровно такие же сложности для левых.

Я согласен с этим. Тут не о чем даже спорить. Но если взять западную дискуссию за последние 20 лет, то видно, что и там не все так просто. Когда в сере-

дине 80-х годов пришла к власти Тэтчер, многие думали, что это не надолго. И только через три-пять лет, все поняли, что это надолго и по-настоящему. Проблема левых, европейских и отчасти американских, заключается в том, что они обнаружили, что за годы кейнсианского благополучия они превратились в консервативную силу. Их социальная база стала консервативной, у них появилось много, что защищать, они отучились за что-то конкретное бороться и что-то завоевывать. Это относится не только к социал-демократам, но и троцкистам и всяким красным, которые считали себя страшно революционными. Революционность их была весьма своеобразная: вы можете сколько угодно призывать к ниспровержению капиталистического строя, но вы не совершаете никаких практических действий по ниспровержению. От того, что вы с кафедры ниспровергаете капиталистический строй, он от этого никак не меняется. Радикалы были интегрированы в систему, и им было, кстати, очень комфортно находиться в своей нише, пользуясь разнообразными благами. Ими не было выработано никаких стратегий после конца 60-х годов...

То есть произошло вырождение политического после 1968 г., которое описывает Валлерстайн.

Да. В 60-е годы были стратегии восстания и сопротивления. Они провалились, но они были. А начиная с середины 80-х их не было. В лучшем случае, происходила имитация стратегий 60-х годов, несмотря на то, что все внутренне осознавали, что они провалились. А социал-демократы перешли от роли реформаторов к роли администраторов. Это было главной трагедией социал-демократии, которая прекратила свое существование как реформистская сила, после того, как она была разгромлена неолибералами или после того, как она сама стала переходить на неолиберальные позиции. Шредер, Блэр и т. д.

В то время, как левые обращались в консервативную силу, правые присваивали и постепенно осваивали дискурс перемен. Не случайно слово «реформа» очень успешно перешло в лексикон правых. Левым даже как-то неудобно его сегодня произносить. В значительной мере язык прогресса также был захвачен правыми. Все это было использовано как элемент стилистики неоконсервативной контрреволюции.

В этом смысле, левые переживали в 90-е годы очень тяжелое интеллектуальное замешательство. Их политическое поражение и у нас, и на Западе, было связано с этим. Просто у нас это приняло крайне тяжелую форму и наложило на практически полное истребление традиции. Сначала смели традицию троцкистскую и левооппозиционную (в 20–30-х годах), а затем избавились, что самое парадоксальное, и от сталинистской традиции. Поэтому вся советская традиция реально была абсолютно деидеологизирована, и практически все новые течения пытались себя отстроить заново, пытаясь перебросить мостик куда-то в позавчерашний день. Сталинистская традиция оказалась более живучей просто потому, что она оказалась менее всего физически вычищена, да и потому, что она была так или иначе институционализована по форме. Но, характерно, что даже сталинистская традиция потерпела поражение в России 90-х годов. Я имею в виду и РКРП, и часть КПРФ. Последняя является гибридной партией, масса членов которой имеет крайне противо-

речивые и запутанные взгляды, но руководство при этом стоит на позициях право-консервативных.

Показательно, что КПРФ победила все остальные левые партии и не только потому, что ей помогала власть. Почему правая партия смогла занять нишу левых? На социальном уровне это объясняется деклассированностью ее массовой базы, а на интеллектуальном уровне — вычищением всей левой традиции. На фоне большого идейного конфуза западных левых, то, что в России и без того было проблемой, превращается в катастрофу. Оказалось, что с Запада невозможно позаимствовать готовые схемы. Наша интеллектуальная жизнь всегда была сильна тем, что, заимствуя западные схемы, она их адаптировала и соответствующим образом преобразовывала, создавая новую идеологическую реальность. В этом смысле интересна сама структура русского языка, восприимчивого к инновациям из других языков (в отличие, скажем, от германских или угро-финских языков, которые практически не воспринимают лингвистические инновации). Но парадокс состоит в том, что заимствовать и переваривать было нечего. На тот момент никакой готовый интеллектуальный материал с Запада не поступал. Его нужно было вырабатывать собственными силами, здесь. Единственный ценный материал, который поступил с Запада за последние 15 лет, это, конечно, миросистемная теория, которая пришла к нам как теория Валлерстайна. Но над этой теорией работал не только Валлерстайн, но и Андре Г. Франк, кстати говоря, это и Роза Люксембург. А также, как я потом выяснил, и наш историк Михаил Покровский, который подходил к тем же вопросам, но с другой стороны, со стороны русской истории.

Но и этот материал пришел через чисто академическую среду. Трудно представить на Западе валлерстайнские партии или массовое валлерстайнское движение, хотя Валлерстайн пользуется безусловным авторитетом среди политически активных левых. Но это, все-таки, академический марксизм. Таким образом, эта идейная инновация просачивалась по очень узкому каналу. А люди, выбирающие политическую ориентацию, смотрят не на конкретного интеллектуала, а ориентируются на какое-то политическое движение, которое выражает еще и какую-то идеологию, интеллектуальный дискурс, как принято говорить. На что было смотреть на Западе? На распадающиеся компартии? На выродившихся новых левых? На социал-демократов, которые перестали быть социал-демократами?

Спасительным был момент 1999 года, потому что, с одной стороны, наш дефолт привел к идейному краху либерализма, а затем и социальному краху. Наш сформировавшийся к этому времени средний слой был настроен на социальный проект либерализма, а после этого начал критически осмысливать и переоценивать этот проект. С другой стороны, на Западе начинается подъем нового движения, которое связано с антиглобализмом. Опять совпали две фазы — наша собственная и западная. Общество, так или иначе, вышло из фазы социальной дезорганизации. Люди нашли себя в двух местах. Тот, кто работает в банке, попал в средний слой, начал понимать свои интересы и выстраивать социальные связи. Кто-то попал на заводы, которые заработали. То есть появился какой-никакой, но рабочий класс. Система образования также перестроилась и начала обретать некоторую связь с новой реальностью. Довольно сложную и противоречивую, но стало понятней, например,

куда могут пойти выпускники, появился спрос на определенные дисциплины, выстраивается заново системы мотиваций. Теперь, более или менее стало понятно, против кого сопротивляться. Ведь в ситуации хаоса, броуновского движения, когда бегают фигурки по полю, никакого сопротивления нет. Организованное сопротивление было невозможно, а теперь возникла другая ситуация. Но ныне поле расчищено и появились очаги, редуты нового сопротивления, которые уже осознанно и осмысленно держат свои позиции. Посмотрим на то, что сейчас происходит в системе образования: борьба с неолиберализмом ведется системой институтов, которые за эти 15 лет уже отстроились. Они защищаются, может быть пока еще и не очень эффективно. Защищаются, сознавая, что они делают.

Но это же коммерческая система...

Понятно, ведь они же адекватны новой реальности — в этом залог их эффективной защиты. Если бы они были сейчас неадекватны, что бы они делали? Ну, предлагали бы проект улучшения этой реформы, допустим...

Зачем системе, которая думает о продаже статусов, думать об образовании?

Вы тут, кстати, неправы. Система образования очень четко расслоена, и реальное сопротивление оказывают как раз те, кто не связан с продажей статусов. Особенно провинциальные вузы. Те из них, которые распоряжаются статусами не высокоценными. Самое большое сопротивление оказывают провинциальные вузы, которые готовят детей из деревни, которые не имеют перспективы на большой статус. А вот МГУ может много кричать, но делать ничего не будет.

Вы действительно считаете, что провинциальные вузы способны на сопротивление?

Они на уровне саботажа очень эффективны. Вот я следил, что сейчас происходило в Пензе — они реформу просто убили. По крайней мере — на первом этапе. Там должны были сливаться университеты. Но такое ощущение, что им слить ничего не удалось. Пенза — интересный регион: достаточно сельский, вузы с крайне низким рейтингом. Им ничего не светит. И они твердо и жестко отстаивают свои интересы. Слияние двух университетов они оттягивают бюрократическими затяжками, проволочками, зная, куда нажать, где и что не выполнить. Раньше даже саботаж был неэффективным, ведь схема была новая, а люди не знали, как ее можно успешно саботировать. А сейчас система отлажена и люди знают, как ей сопротивляться. В обществе вырос уровень социальной адекватности. Сформировался социум, который знает, где он живет. И это хорошая предпосылка для развития левого движения, поскольку первое условие левого дискурса — это адекватное понимание капиталистического мира.

Но проблемой стали как раз представители той части интеллектуального сообщества, которое отстроилось в 90-е годы на гребне этого броуновского движения, которые как-то законсервировались: так или иначе они социали-

зировались, обрели финансы, структуру. Поэтому мы имеем КПРФ, «Родину», как такой политехнологический проект, который сделан старыми средствами, старыми инструментами и на основе старых идей. Или газета «Завтра», которая после 2000-го года не отражает ничьих интересов, но которая построена на основе связей, отношений, финансовой поддержке, сложившихся на протяжении полутора десятилетия. Эта закостеневшая реальность, сложившаяся в 90-х, препятствует появлению и формированию нового интеллектуального пространства.

Если об этом говорить в контексте кризиса идентичности левых, как сегодня левые друг друга опознают? По риторике, по врагам, по позитивным идеалам.

Я уже сказал, что все вернулось к схеме прямого обращения к западной реальности, которая тоже изменилась, стала более богатой. Любопытно, что на протяжении 90-х было две группы левых. Условно говоря, старые и новые. Скажем, те, кто свои идеологемы возводил к 1917-му году, понятому через призму «Краткого курса истории партии». Там для троцкистов места не было. Но могли быть сталинисты или брежневисты, или же меньшевики (социал-демократы), в старом понимании. Люди пытались взять «Краткий курс» и извлечь из него представление о врагах сталинизма. Они примеривают на себя этот образ. Но он же не реальный, а карикатурный. Затем этот карикатурный образ пытаются воплотить. Реальные меньшевики были не такими, как их изображали в «Кратком курсе», но постменьшевики, скажем, 90-х годов становились точно такими, как они были нарисованы в «Кратком курсе». То есть эти монстры материализовались. Получился «Краткий курс по материализации монстров».

Но новые левые — соцпартия, партия труда, анархо-синдикалисты — черпали свое вдохновение из другого источника, из западной левой традиции. Может быть, они идеологически были более адекватны, но они были институционально беспомощны. Они не укоренялись ни в каких традициях или институтах, которые хоть как-то сложились в советское время.

В итоге, потерпели поражение и те, и другие. Сначала новые, а затем и старые левые. Но, примерно, с середины 90-х годов пришлось выстраивать эту схему заново. Теперь уже есть, так или иначе, общее для «старых» и «новых» поле левого дискурса, есть общее противостояние капитализму, с общим отношением к либерализму и неолиберализму, то есть к системе догм, которые выстроили российские либералы, которые сейчас, кстати, тоже стали более адекватными, приблизились к либералам западным. Левые выстроились против либерального дискурса, в частности против таких ключевых пунктов, как отождествление рынка и демократии, отождествление рынка и частной собственности. Против такой вот триады. Левые же отделяют каждый из этих элементов и принципиально противопоставляют, например, рынок и частную собственность. Левые выстраивают этот либеральный треножник в линейку, на одном конце которой стоит принципиально неприемлемый институт частной собственности, а на другом — принципиально приемлемый институт демократии, а посередине возникает проблемы рынка. Есть понимание, что новая экономика, к которой стремятся левые, с одной стороны, не будет

рыночной экономикой, с другой стороны, рынок не имеет смысла отменять. На экономическом уровне возникает своеобразный неонэповский консенсус. Опять же есть разные варианты того, что троцкисты называют «переходной программой». То есть идеи выхода за пределы системы, при осознании, что этот выход не осуществляется одномоментно.

С либералами — все понятно. Но нарастающую важность приобретает для левых размежевание с имперскими националистами. Потому что имперские националисты пытаются навязать себя левым в друзья. По старой привычке, когда отдельные левые, по оппортунистическим причинам, братались с национал-державниками. Сейчас, когда левые появились как политическая сила, которая себя осознает, принципиальным вопросом становится разрушение «красно-белого союза» (придуманного Прохановым и газетой «Завтра»). Интернационализм становится нарастающе важным элементом идентичности левых. Сейчас в некоторых организациях появилась тенденция говорить о национализме, как о некоем грехе, о чем-то постыдном, от чего в то же время не удастся отделаться — вроде того, когда человек мочится в постель.

В связи с этим вопросом, намечаются расколы внутри левых организаций, процесс размежевания и объединения. Я возлагаю большие надежды на попытку создания Левого фронта. Причем неважно, получится это или нет — важна сама попытка как некий шаг в правильную сторону, потому что она позволяет вытянуть собственно левых из организаций, которые формально находятся на левом спектре, не являясь в целом и последовательно левыми.

На аналитическом уровне возникает еще одна проблема — оценка перспектив российского капитализма. Речь идет о совершенно классической дискуссии — Мартов, Плеханов и т. д. Она вернулась, потому что капитализм вернулся. Поэтому происходит поразительное возобновление старой дискуссии о перспективе революции. Если два-три года назад слово «революция» могло произноситься «для своих», а в разговоре для внешней публики его избегали, поскольку, как-то не хотелось, чтобы над тобой смеялись. Когда я опубликовал по-английски *Russia under Yeltsin and Putin*, то в общем-то позитивной рецензии газеты Independent как странность было отмечено, что автор пишет о какой-то революции. Ну, как можно в XXI веке писать о революции?! Почему в такой нормальной, серьезной книге такие архаичные, бессмысленные слова? Но после событий на Украине, в Грузии, в Киргизии, слово «революция» вошло в обиход. Причем, совершенно неадекватно, поскольку на самом деле там никаких революций как раз и не было. Но реально дискуссия идет о том, есть ли у России революционная перспектива. Если есть, то какая? Как это соотносится с глобальным кризисом системы неолиберального капитализма, который наблюдается достаточно внятно? Одним из проявлений которого является, кстати говоря, российский экономический бум, потому что если бы не было глобального кризиса, то не было бы и нефти ценой в 70 долларов. Такое может быть только в абсолютно деформированной и больной экономике. 70 долларов за нефть — это высокая температура как при лихорадке. Российский бум — это проявление международной экономической лихорадки.

Возникает возможность для очень позитивной дискуссии о том, куда идти. Такой дискуссии не было 5–10 лет назад. Левые не чувствовали себя действующим фактором. А сейчас, по крайней мере, на интеллектуальном уровне,

появляется возможность этой дискуссии. Это говорит о том, что внутри себя левый идеологический спектр выстраивается. Потенциально выстраивается и либеральный идеологический спектр. Но выстраиваются пока в разных плоскостях, не пересекаясь в единой интеллектуальной дискуссии. Но пока ни одна из этих сил не может предложить обществу — не люблю это постмодернистское слово — мета-нарратива. В том факте, что мета-нарратив похоронили, сказалась его неизбежность. У Сартра есть доклад, который посвящен Кьеркегору и начинается со слов: «Тема нашего семинара — живой Кьеркегор, а отсюда следует, что Кьеркегор мертв». Тут, как бы идя от обратного, можно сказать, что похороны большого нарратива свидетельствуют как раз о том, что пытаются закопать живого. Видимо темой будущего будет возвращение больших нарративов. Правда, это тема не чисто российская, но она будет доминирующей вообще темой.

В этом смысле, левые находятся в выигрышной позиции, потому что они для себя никогда внутренне с большими нарративами не прощались. И даже когда большой нарратив ушел, у них сохранялась по нему страшная тоска: Призрак ушел, но пусть он вернется. И в этом отношении левые находятся в выигрышной позиции, потому что они для себя никогда внутренне с большими нарративами не прощались. Когда Деррида пишет «Призраки Маркса»², у всех это вызывает настоящий восторг, потому что призраки рвутся назад...

У Калиникоса, кстати, критика постмодернизма — это критика антиидеологического течения...

Ну, естественно. Калиникос был 5–7 лет назад достаточно маргинальным, хотя и уважаемым интеллектуалом. Сейчас он вполне знаковый интеллектуал. Неслучайно, что его «Антикапиталистический манифест» перевели на русский язык. Раньше переводили Фукуяму или Хантингтона. Дело не только в том, что появились левые издательства, что тоже симптоматично, но возник спрос на такого рода идеи. Я думаю, нам предстоит очень увлекательное интеллектуальное будущее. Но оно придет на фоне обрушения старых институтов и на фоне осознания того, что чистая идеология бессмысленна и должна уйти. Дело не в том, что ворвется какая-то свежая струя в эту дискуссию, а в том, что интеллектуальная и духовная жизнь просто пройдет мимо, двигаясь в другую сторону.

Если подытожить, то происходит несколько процессов. Во-первых, стабилизируется социальная структура. В результате в социуме появляются выраженные интересы. Эти изменения, в свою очередь, оказывают влияние на левую дискуссию, по-новому ее структурируют и сами ей структурируются.

Но это все впереди.

² Derrida J. Spectres de Marx, Paris: Galilée, 1993. — Прим. ред.